А. А. Шайкин

ТРОПЫ В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

А. С. Демин, стремясь проникнуть в специфику «литературного творчества» летописцев, проводит наблюдения «над тремя повествовательными формами, распространенными в летописном тексте и тесно связанными друг с другом, – над изобразительными отрывками, над компактными характеристиками летописных персонажей, над перечислением и перечислительными описаниями»[1]. Наблюдения остроумные, но не надо ли для начала отступить на несколько шагов назад и проделать рутинную «школьную» работу по классификации художественной речи летописи? Разумеется, налагая критерии поздних поэтик на материал древнего слова, мы неизбежно модернизируем его. Что же делать? Ничего особенного. Если нам удается «вчитать» некий смысл в древнее слово, значит потенциально там этот смысл присутствовал – толкуем же мы о емкости и многозначности художественного слова. Чувство меры, конечно, не помешает.

Речь летописцев ясна и проста, в её основе «слышимы», различимы интонации разговорные, с их свободной, не приглаженной последовательностью в передаче мыслей и наблюдений: «**И придоша** (половцы. – *А. Ш.*) **на манастырь Печерьскый, нам сущим по кельям почивающим по заутрени, и кликнуша около манастыря, и поставиша стяга два пред враты манастырьскыми, нам же бежащим задом манастыря, а другим възбегшим на полати...**» и так далее (151)[2]. Речь эта энергична, глагольна, сказуемое обычно выдвинуто на первое место, что отчетливо видно в кратких сообщениях: «**Иде Володимер к ляхам и зая грады их...**», «**Заратишася вятичи...**», «**Придоша болгары...**».

События, действия, движение — вот что стремятся передать летописцы, и эта задача требовала слога ясного, не осложненного украшениями. Тропы и фигуры большей частью являются не порождением литературных усилий летописца, а идут из понятий самой действительности либо появляются при затруднительности прямо передать суть явления, нередко нового, непривычного.

Стилистика ПВЛ по части изобразительно-выразительных средств несводима только к традиционно выделяемым тропам. В число таких средств должны быть включены разнообразные слова и выражения с менее фиксированными художественными значениями: живописующие слова, слова с переносными значениями, разного рода формульные выражения. Кроме того, надо, конечно, помнить и о том, что в художественном тексте «дело не в одних образных выражениях, а в неизбежной образности каждого слова, поскольку оно преподносится в художественных целях»[3].

Живописующие слова — это по преимуществу глаголы. Трудно судить, обладали ли они в X–XII вв. дополнительными художественными оттенками, но на современный слух такой оттенок в них присутствует. Известно, что от частого употребления слово «стирается», но слово, «пролежавшее» в кладовой языка, может, видимо, «набрать» в своем смысловом и художественном весе. Имея мало надежды определить то или иное образное значение слова или выражения, адекватное его современности, мы поневоле расцениваем его на свой слух. При этом надо учитывать, что «на читателя старого поэтического произведения отмершие, но некогда общепринятые способы языкового выражения производят впечатление архаизмов, обладающих действенной поэтической силой»[4]. Разумеется, сказанное относится не только к словам, воспринимаемым как архаизмы. О «способности художественного текста накапливать информацию» размышлял Ю. М. Лотман, полагая, что первоначально «случайные» элементы художественного текста при последующем их восприятии могут приобрести новую системность и таким образом «при переходе от передающего к принимающему количество значимых, структурных элементов может возрастать»[5]. Однако, к делу.

Известны выражения «взять дань», «добыть дань», но когда в летописи говорится «**се *налезохом* дань нову**» (16), то перед нами

встает как бы самый процесс захвата, процедура добычи дани. «**Налезть**» можно не только дань, но и князя: «**Аще не пойдете к нам, то *налезем* князя собе**» (49), — ультимативно заявляют новгородцы Святославу Игоревичу, требуя в князья одного из его сыновей.

«**И *пояша* ноугородьци Володимера к собе**» (50). В глаголе есть оттенок насилия, «*поять*» относится и к обладанию женщиной.

В качестве военного трофея Владимир получил жену брата своего, Ярополка: «**Володимер же *залеже* жену братьню грекиню, и бе *непразднa*...**» (55—56).

«Налезохом», «пояша», «залеже», «непраздна» — не только называют действие или состояние, но и изображают их, несут в себе первозданную связь с конкретным процессом.

Можно сказать «выскочили воины из лодок», но «выскочили» — это все сразу, массой, здесь нет оттенка «выскакивания» каждого отдельного воина, а в летописном выражении «***выскакаша* вси прочии из лодья**» (20) такой оттенок, кажется, присутствовал, «Выскакаша» — это и все, и каждый в отдельности.

«Потягнуть» — *начать* бой и в то же время *сражаться до последнего, до смерти или победы*, «**...и одоляху болъгаре. И рече Святослав воем своим: Уже нам сде пасти; потягнем *мужьски*, братья и дружино! И к вечеру одоле Святослав...**» (50).

Идти приступом на город — «***приступати* к граду с бранью**» (55).

О змее, ставшей причиной смерти Олега, в переводе сказано «выползла» и «ужалила». Насколько это беднее и бледнее летописного живописания: «**...и *выникнувши* змиа изо лба, и *уклюну* в ногу**» (30). Змея ведь, действительно, клюет, а ее внезапное явление из конского черепа вряд ли было «ползанием».

О послах Владимира, впервые посетивших храм святой Софии в Царьграде, летописец говорит так: «**Они же во *изуменьи* бывше...**» (75).

От глагола «умирать» летописец образует в высшей степени выразительное существительное, передающее массовую гибель людей: «**человеком *умертвие* бяше**» (111).

Умело извлекает летописец дополнительные смысловые значения из ряда глагольных форм (коннотация). Так, «похорони»

в контексте летописца может приобрести значение «спрятав»: «*похорони* вои в лодьях» (20).

Глаголы «мыслити», «думати» в летописном употреблении наполняются значениями военного предприятия, акции, с оттенком несправедливости со стороны того, кто эту акцию замышляет: «**нача *мыслити* на деревляны, хотя *примыслити* большую дань**» (39); «**Святополк же, прогнав Давыда, нача *думати* на Володаря и на Василка**» (178); «**и прелсти Давыд Святополка, и начаста думати о Васильке**» (171) и т. п. Когда речь идет об обычном военном походе, то говорится просто: «***Иде* Игорь на Греци**», «**Семион *иде* на хорваты**» и т. п. «*Думати*» и «*мыслити*» изобличают несправедливое намерение и, кстати, демонстрируют возможность материализации «мысли» в дополнительную дань или ослепление князя.

Волхв у летописца не просто стремится уподобиться богу, но прямо «***творяся* акы бог**» (120).

Переносные значения отчетливо видны в таких выражениях, как «***построити* мира**», «***обновити* ветъхий мир**» или «***се буди мати* градом русьским**», но выражения такого типа, впрочем, уже могут быть определены как метафорические, о чем ниже.

Сталкиваясь с новыми понятиями при переводах из греческого, летописцы были вынуждены создавать новые слова, большей частью неологизмы их оказывались удачными: «***срамословье***» (15), «***законопреступный***» (31), «***враждолюбьца***» (35), «***разноличныя***» (48) и т. п. К неологизмам надо отнести и выражения типа «***баня бытия***», «***растворение смертное***», к которым вернемся далее.

Использование тропов в «авторской» речи и речах персонажей свидетельствует о стремлении летописца добиваться в нужных случаях представимости описываемого материала.

Можно дискутировать по поводу меры сознательности в таких проявлениях художественности, но объективно она присутствует в летописи и как таковая должна быть учтена. Только после этого можно будет вернуться к вопросу о сознательности — априорное постулирование в данном случае не способно привести к положительному результату.

Эпитеты, используемые летописцами, с трудом поддаются удовлетворительной классификации. Можно попробовать расположить их по признаку убывающей свободы, т. е. от вольного их

употребления к терминологическому, закрепленному значению, хотя такая классификация, конечно, не исчерпывает их специфики.

Разнообразие художественных определений можно встретить там, где этого, кажется, трудно ожидать: в портретных характеристиках, которые принято считать клишированными и наиболее этикетными фрагментами летописного текста. Однако для разных социально-профессиональных категорий существуют свои наборы определений. В людях духовного звания летописец подчеркивает одни черты: «**Ларион муж *благ*, *книжен* и *постник*...** (105); ...**Феодосия, *доброго пастуха*...**» (140). В князе отмечаются иные: «**Ростислав мужь *добль*, *ратен*, взрастом же леп** (слово “взраст” могло означать и “рост” и “возраст”; в переводе: “прекрасно сложен”) **и *красен* лицем**» (111). О боярине, человеке мирском, но праведной жизни летописец высказывается, подбирая определения его мирской и его духовной сущности: «**старець добрый... муж *благ*, и *кроток* и *смерен***» (186). Языческого славянского бога летописец характеризует по воинско-мирскому качеству: «**Дажьбог, бе бо муж *силен***» (198). Для летописей характерны эпитеты *оценочные*, изобразительные встречаются редко[6].

Не располагая еще словом «яд», летописец находит ему замену в искусно найденном описательном обороте с использованием эпитета: «**растворенье *смертное***» (111). При посредстве эпитета, переходящего в сравнение, дается точное описание кометы: «**явися звезда... *копейным* образом**» (25). Хотя «копейный», скорее всего, перевод с греческого, нам важно отметить самое наличие образного выражения в летописи. Обилие и разнообразие овощей передается интересным эпитетом «***разноличныя***» (48), идущим от личности, ее особости. Город может быть не только большим и крепким, но и «славным»: «**се град ваю *славный* взях**» (76).

В горести и негодавании летописец восклицает: «***о злая* лесть человеческа!**» (54). Мы говорим теперь о лести «тонкой», «изощренной» или «грубой», забывая, что лесть всегда – «*злая*».

Вспоминая о гибели Бориса и Глеба – «**овчате Христове добрии**», – летописец находит удивительно точное определение: «**ни отбежаста *нужныя* смерти**» (200). В данном контексте «нужныя» точнее и имеет иные, более глубокие оттенки, нежели определе-

ние «насильственной», употребленное в переводе (укор не переводчику, а современному русскому языку, не располагающему адекватными словами).

Интересно высказывание летописца об амазонках: «**суть *храбрыя* жены ловити звер *крепкыи***» (15). В качестве эпитетов в летописи могут выступать не только прилагательные или существительные, но и наречия: «**боряхуся *крепко* из града**» (42), «**послушаше *сладко***» (60).

Одним из наиболее употребительных эпитетов в летописи является определение «великий», применяемое в весьма «разнологичных» случаях. «Великим» может быть «ветер»: «**Бог ветром *велики* разруши столп**» (10), «**воздух възляяся *повелику***» (111); «трус» (землетрясение): «**в Сурии же бысть трус *велик***» (111); и «плач»: «**плакася плачем *великомь***» (48). Преобладающим в такого рода употреблениях является значение «сильный».

Кроме того, «великий» употребляется в значении «большой», причем также для самых разных явлений: озера, ямы, звезды, количества воинов, размера полона: «**озеро *великое* Нево**» (11), «**яма *велика***» (41), «**звезда *превелика***» (110), «**в силе *велице***» (32), «**с полоном *велики***» (185). В применении к сражению эпитет «великий» употребляется редко, но все же можно встретить: «**бысть сеча *велика***»[7]. Разные оттенки может приобретать определение «великий» в пределах одного предложения: «**с полоном великим, и с славою и с победою *великою***» (185). Во втором случае «великий» употребляется в том значении, какое стало определяющим в наше время. И, наконец, терминологическое значение приобретает этот эпитет в титуловании: «великий князь»[8].

Часто употребляется и определение «много»: «**в лета *многа***» (10), «**по *многех* временех**» (11), «**вои *много***» (42). Очень большое количество может быть обозначено: «***бещислено* множьство**» (147). Так обычно говорится о вражеском войске. Как антоним употребляется слово «мало»: «**с *малом* же дружины**» (40). Главным во всех этих примерах является количественный признак без каких-либо дополнительных значений. Для относительного количества подбирается другое определение: «**желая *больша* именья**» (40), «**желая *болшее* власти**» (121). Власть, суетная власть мира сего, увеличивается пространственно. О половцах, разоря-

ющих окрестности Киева и жгущих манастыри, говорится: «***на семь свете*** **приимшим** ***веселье*** **и** ***пространьство***» (152).

Когда одно определение не исчерпывает характеристики явления, добавляются дополнительные. Союз «и» сообщает этим определениям синонимическую близость, но дифференцирующие значения остаются. Характерны своеобразные пары: «**мужи мудри и смыслени**» (13), «**обьре теломь велици и умомь горди**»[9] (14), «***яму велику и глубоку***» (41), «**нача вои совокуплятн** ***многи*** **и** ***храбры***» (46), «**и быша человици** ***мнози*** **и** ***единогласни***» (64). Развитием таких пар являются более сложные описательные ряды с несколькими уточняющими и дополняющими друг друга определениями: «***многовещныя*** **имуще раны,** ***различныя*** **печали и** ***страшны*** **муки**» (146). Еще более развертываются и усложняются синонимические ряды во фрагментах, выдержанных в агиографическом стиле. В роли эпитетов здесь могут выступать целые конструкции, как, например, в похвале Борису и Глебу: «**Радуйтася,** ***страстотерпца Христова, заступника Руськыя земли ... небесная жителя, въ плоти ангела быста, единомысленая служителя, верста единообразна, святым единодушьна...***» и т. д. (93–94). Агиографическая стилистика во многом восходит к переводной литературе, но нельзя при этом не учитывать того, что переводчикам приходилось извлекать или создавать соответствующие слова и выражения и формировать синтаксические аналоги из наличного языкового материала: «**в радости** ***бесконечней,*** **в свете** ***неизреченьнемь***» (93), «**свет** ***разумный, красныя*** **радости**» (94), «**жертва** ***словесная***» (93) и т. п. Из греческого, видимо, шли определения сложного состава: «***живоносныя***», «***златозарный***», «***светоносный***» и т. д. Богатство здесь огромное, и, безусловно, агиографическая стилистика сыграла большую роль в развитии выразительных средств русского литературного языка.

С агиографической стилистикой связаны и многие устойчивые словосочетания с эпитетами.: «***бесовьская песни***» (15), «***святых церквей***» (33), «***враждолюбьца дьявола***» (35). Сюда же, видимо, надо отнести и «***Навходоновсора законопреступного***» (31), ибо только так определяемый он может выступать в сознании древнерусского книжника. Кстати, эпитет «***шелудивый***» сразу вызовет у читателя ПВЛ конкретное имя – так в ПВЛ определяется только половецкий хан Боняк.

К устойчивым выражениям относится и «*добрые гости*», однако любопытно, что в летописном контексте это выражение может приобрести противоположное значение: «***Добри гости* придоша**» (40), — говорит Ольга, обращаясь к убийцам своего мужа, и в ее устах это выражение наполняется убийственной иронией, становится зловещим, предвещая скорую гибель этих «добрых гостей». Древляне же, напротив, определение «добрые» употребляют в прямом смысле: «**а наши князи *добри* суть**», — говорят они, наивно надеясь склонить Ольгу на брак с их князем. В конце этого эпизода Ольга еще раз произносит слово «добрый», и опять в ироническом плане: «***Добра ли* вы честь?**» (41), — спрашивает она у древлян, которых живьем закапывают в яме, «великой и глубокой».

Про смерть уже в XI веке было сказано — «***горькая***» (146). Устойчивыми выражениями характеризуются битвы, сражения: «**брани бысть *люта* межи ими**» (192), «**бе гроза *велика* и сеча *сильна* и *страшна***» (100), но самое употребительное: «**бысть сеча *зла***». И это, пожалуй, самое точное определение.

Некоторые определения настолько закреплялись в конкретном значении, что приобретали терминологический характер. Например, определение «*поганые*» явно субстантивировалось и превратилось в название, обозначающее не только язычников, но и иноверных степных врагов (в этом случае качества «врагов» и «язычников» как бы синтезировались). Как термин звучит уже упоминавшееся определение «*великий*» в титуле «*великий князь*». В договорах с греками русские князья могут именоваться еще и «*светлыми*», Олег о себе в тексте договора может сказать «**наша *светлость***» (26), но это, видимо, перевод греческого титулования. В русской практике XI—XII веков оно не закрепилось и в оригинальной речи летописца не употребляется. К феодальным терминам, близким к титулам, могут быть отнесены «***лучьшии мужи***», «***мужи нарочитьи***», «***мужи смыслени***» (40, 41, 143). «Лучьшии мужи» из древлян пришли сватать Ольгу; Ольга, ведя с древлянами игру, потребовала, чтобы в качестве сватов прислали «мужей нарочитых», то есть еще более высоких по социальному статусу.

Характер дипломатических терминов имеют такие «эпитетные» выражения, как «**обновити *ветъхий* мир**» (35), «**любовь *пра-***

вая*»** (40). Военно-политическим термином стало выражение «усобные рати***» (94). Выражения, ныне звучащие несколько поэтически, были, вероятно, географическими терминами: «***полуденьная*** **страна**», «***полунощныя*** **страны**» (9), «**от *последних*** **земли**» (от краев земли) (199). Выражение «*последняя земля*» может иметь и временное значение: «**Се бо и бысть *последняя земля...***» (199) — конец света. Во всех этих случаях определения имеют несвободный, фиксированный характер.

В целом, как видим, сфера художественных определений предстает в ПВЛ в достаточно многоликом, развитом состоянии, способствуя тонкой, глубокой и выразительной передаче словом разнообразных оттенков и состояний людей и окружающей действительности.

Сравнения. В некоторых случаях разграничить эпитет и сравнение не так просто: «**явися звезда велика на западе копейным образом**» (25). Можно перевести «копейного вида», «копьевидная» и «*как* копье». Переходны и другие случаи: «**си бо звезда *акы кровава***» (110), «**звезда превелика, лучи имуще *акы кровавы***» (105). В таких случаях эпитеты выступают в роли сравнений.

Однако подавляющее количество сравнений в ПВЛ строится по классическому образцу с использованием союза «как» («акы», «аки», «яко»): «**погибоша *аки* обре**». Творительный сравнительный используется редко[10]; кроме «звезды копейным образом» есть еще «**древляне живяху *звериньским* образом**» и близкая форма с наречием «**живуще *скотьски***» (15), «**живяху *скотьски* человеци**» (63).

Более распространены, обычно в рамках агиографического стиля, сложные сравнительные конструкции, построенные по принципу параллелизма: «***Яко же бо се некто землю разореть, другый же насеять, инии же пожинають и ядять пищу бескудну,*** **— тако и сь. Отец бо сего Володимер землю *взора* и *умягчи*, рекше крещеньемь просветив. Сь же насея книжными словесы сердца верных людий; а мы пожинаем, ученье приемлюще книжное**» (102). Духовная деятельность Владимира и Ярослава находит сравнительную параллель — положительный параллелизм — с процессом землепашеского труда, причем последнее, то есть «картинка», связанная с миром природы, как и в фольклоре, пред-

шествует «картинке» из сферы духовной деятельности. Вторая параллель здесь к тому же насквозь метафорична. Таковы основные **формы** сравнительных конструкций, используемых летописцами. Но какова же содержательная сторона летописных сравнений? Что с чем сравнивали древние летописцы?

Сравнение **людей с людьми** же может составить первую группу сравнений ПВЛ. Герой летописи может сравниться с героем прошлого: эфиопская царица, приходившая к Соломону, искала мудрости, но мудрости человеческой; Ольга же, приплывшая в Царьград, искала мудрости божественной (45). Совершив свое дело, убийцы Глеба вернулись к своему хозяину Святополку, и это возвращение злодеев оценивается библейской параллелью: «**Оканьнии въզвратишася въспять,** ***яко же рече Давыд: Да възвратятся грешницы въ ад*** » (93).

Достаточно распространенным является сравнение **человека с животным**, причем сравнения могут работать как в сторону снижения, так и возвышения сравниваемого человека. К первым относятся уже цитированные примеры о зверином и скотском образе жизни древлян и других племен. К такому же сравнению прибегает летописец, обличая женское распутство: «**жены блудяху...** ***акы скот, блудяще*** » (198). С волчьей сравнивается алчность Игоря, обирающего древлян: «**бяше бо муж твой** ***акы волк*** **восхищая и грабя**» (40). Это же сравнение дается и в развернутом виде, в форме притчи: «***Аще ся въвадить волк в овце, то выносить все стадо, аще не убьють его,*** **тако и се, аще не убьем его, то вся ны погубить**» (40). К сравнению с волками прибегает и Владимир Мономах, изображая половцев, алчущих ускользающей от них добычи: «***И облизахутся на нас акы волци стояще*** » (161). Сравнение с дикими зверями характеризует убийц Бориса: «**И се нападоша** ***акы зверье дивии*** **около шатра**» (91).

Но святые и невинные сравниваются с «агнцем» — символом Христа. Глеба же «**зареза...** ***акы агня непорочно*** » (93)[11]. С таким же сравнением встречаемся в письме Мономаха к Олегу, где Владимир скорбит о гибели сына: «**тело увянувшю,** ***яко цвету нову процветшю, яко же агньцу заколену...*** » (164), хотя в действительности поведение Изяслава Владимировича было далеко не «агнским», и лишь юный возраст убитого княжича позволял употребить это сравнение.

Сравнение с животными может подчеркивать воинские качества героя летописи. Стремительность Святослава передается сравнением с пардусом: «**легъко ходя,** ***акы пардус***»[12] (46). Положительной характеристики-сравнения может удостоится и половецкий хан, если он воюет на стороне русских, как этого удостаивается «шелудивый» в других случаях Боняк: «**Боняк же разделися на 3 полкы, и сбиша угры** ***акы в мячь, яко се сокол сбиваеть галице***» (179). (Не совсем ясно это «акы в мячь»: в переводе «сбил в кучу», но ведь здесь стоит «акы»? Перевод «в кучу» более соответствует чтению в Ипатьевской, где нет «акы»: «**сбиша Оугры в мячь. яко соколъ галице збиваеть**»[13]).

Человек может сравниваться и **с неодушевленными предметами**. Об Ольге, внимающей христианской проповеди, говорится: «**Она же поклонивше главу, стояще,** ***аки губа напаяема***» (44). Сравнивается Ольга и с явлениями природы, но с такими, которые уже приобрели значение символическое: «**Си бысть предътекущия крестьяньстей земли,** ***аки деньница пред солнцем и аки зоря пред светом***... ***Си бо*** **сьяше** ***аки луна в нощи,*** **тако и си в неверных человецех** ***светящеся аки бисер*** **в** ***кале***...». В. П. Адрианова-Перетц указывает на византийские истоки метафоры «Богородица — утреннее солнце» и вообще всей символики «солнца» и «небесных светил». При этом «солнцу» уподобляется высшая степень качества, луне и звездам — низшая. Поэтому в летописной похвале княгине Ольге она, в отличие от просветившего Русскую землю христианством Владимира, именуется еще «луной»[14].

Сравнения **с миром природы, драгоценными камнями, металлами** характерны для агиографической стилистики. Христианин для дьявола - «***акы терн в сердци***» (58); христиане после мучений и испытаний, принимаемых по воле Господней, «**явятся** ***яко злато искушено в горну***» (152). Величествен образ ангела, создаваемый с помощью подобных сравнений: «**и** ***тело его, аки фарсис*** **(топаз),** ***и лице ему, аки молнья, и очи ему свещи огневи, и мышци ему плещи подобны меди чисте, и глагола его, аки народа много***» (194).

С помощью сравнений передаются и **оттенки психологических состояний**: «**Давыд же седяше** ***акы нем***» (172), «**Приде же и Давыде с ним** (плененным Васильком. — *А. Ш.*), ***аки некак улов уловив***» (173).

В изображении битв[15] обычны сравнения **с лесом, дождем, грозой**: «**и поидоша полкове, *аки борове*»** (бор — лес) (184), «***выступиша яко борове велицни*** **и тмам тмы**» (191), «**идяху стрелы, *акы дождь***» (180), «**и зразишася первое с полком, и тресну, *аки гром*, сразившима челома**» (191—192).

Кометы, как уже отмечалось, сравниваются с копьем, копьевидностью, а их свечение — «лучи» — с чем-то кровавым, что соответствовала толкованию комет как дурных знамений, «**проявляющих крови пролитье**» (110).

И, наконец, еще один неординарный случай: мгновенное ослепление человека от внезапно вспыхнувшего света передается сравнительным оборотом, являющимся одновременно «сильной деталью»: «**внезапу свет восья... в печере, *яко зрак выннмая человеку***» (128).

С помощью сравнений летописцы стремились выразительнее передать облик человека, различные виды его деятельности и состояний, самое качество человека[16], его оценку, причем касается это людей чем-либо выдающихся. Появляются сравнения и при изображении неординарных событий: особенно яростных сражений, явлений комет, солнечных затмений — «**погыбе солнце и бысть *яко месяць***» (200). Специальные образные средства возникают в летописи тогда, когда повествование встречается с каким-либо необычным явлением, событием, человеком.

Метафоры. Говорят, что сравнение — это осторожная метафора. Тематически отчасти совпадая со сравнениями[17], метафорическая образность ПВЛ, тем не менее, имеет в этом отношении и свою специфику. Главным образом, **метафоры в летописи связаны с различными сферами религиозных понятий, представлений, актов**[18]**.** Используются метафоры и для воинских событий, осмыслений смерти, выражения государственных понятий. Но есть в ПВЛ и серия эпизодов, целиком построенных на использовании метафор, связанных, с языческой обрядностью: имеем в виду знаменитую историю о мщениях княгини Ольга древлянам, о чем нам приходилось писать раньше[19].

Начнем обзор не с развернутых метафор, а с метафорических выражений, строящихся на сочетании действий с явлениями и предметами, способными к таким действиям лишь в пере-

носном смысле. Любопытны в этом отношении употребления понятия «*мир*». В выражениях типа «**мир имея ко всем странам**» (39) слово это используется в одном из прямых своих значений — «отсутствия войны», — и здесь нет нужды в метафорических осмыслениях. Но они появляются в таких оборотах, как «***обновити ветъхий мир***» (35), «***утвердиша мир***» (35), «***построити мира***» (34). Здесь «мир» — уже не только отсутствие войны, а нечто большее: какой-то «порядок», «установление» и даже «здание», которое можно построить. Эти выражения намного шире синонимического им «**положите *ряд* межю Русью и Грекы**». «**Построити мира**» — в этом есть что-то от возможностей Бога. «Мир», который можно «строить», «утверждать», «обновлять» — метафоричен. Знает летопись и «мир» как вселенную: «**створите любовь** (с греками. — *А. Ш.*) **на вся лета, *донде же сьяеть солнце и весь мир стоить***» (39).

Такое религиозно-духовное понятие, как «благодать», может приобрести признаки света, солнца и «***восснять***» (12); звезды могут «течь»: «**бысть *звездам теченье*... яко падають звезды, и пакы солнце без луч сьяше...**» (110–111). Гнев, страх, беда, плач способны как бы олицетвориться и приобрести способность самостоятельного передвижения, а «вселенная» и «земля» подвергаются действиям, применимым к живым существам: «**Сего ради** (из-за грехов. — *А. Ш.*) ***вселенная предасться,*** **сего ради *гнев простреся,*** **сего ради *земля мучена бысть... страх, и колебанье и беда упространися***» (147).

Невещественные силы способны созидать вещи, материально ощутимые: «**Мнози бо манастыри от цесарь и от богатьства поставлени, но не суть таци, *каци* суть *поставлени слезами, пощеньемь, молитвами, бденьем***» (107).

«Дьявольские сети» получают иное, характеризующие их название — «***сети неприязньны***» (44), или даже проще: «***сеть скрушися,*** **и мы избавлени от прельсти дьяволя**» (85). Метафорический оттенок в таких употреблениях несомненен: «***неприязньны***» вместо «дьявольские» и даже просто «***сеть***» уже таят в себе имя дьявола.

Целая группа метафорических выражений связана с понятием «лести». «Лесть», «льстивый человек» — одна из самых отрицательных характеристик в языке летописи. «Лесть» — дьяволь-

ское проявление, а «льстивый человек» — его слуга или даже того хуже. «**Ядый хлеб мой** ***възвеличил*** **есть на** ***мя лесть***», «***языки*** **своими** ***льстяхуся***», «***мужь в крови льстив*** **не приплодить** (не увеличит. — *А. Ш.*) **дний своих**» (54—55). «Лесть» здесь — понятие, конечно, более широкое, нежели в современном употреблении. «Замыслить лесть» — значит замыслить злое, смертное дело. «**Посдаша с лестью котопана**» (111) означает не только льстивые, обманчивые заверения, «лесть котопана» заключалась в спрятанном под ногтем зернышке «**растворения смертного**», лишившего жизни князя Ростислава. «Лесть», «обман», «кровь» — это были почти синонимы, ибо обман всегда оборачивался кровью: «**Да се буди** ***кровь твоя на главе твоей***», — говорит Мономах половецкому хану Белдюзю, нарушавшему «роты». «**Кровь твоя**» — здесь кровь русских людей, пролитая обманщиком Белдюзем, и потому Мономах не принимает выкупа, щедро предлагаемого ханом, «**и повеле убити и (его), и тако расекоша и на уды**» (185).

Внутренний раздор между князьями, связанный с обманом и преступлением, нарушением обычая или договорного порядка, передается метафорой, вырастающей в символ[20]: «**и в нас, в братьи, оже** ***ввержен в ны нож***». Такова была реакция Владимира Мономаха и русских князей на ослепление Василька Теребовльского, совершеное тотчас после крестоцелования в Любече. Формульность этого выражения подтверждается его вторичным употреблением: Владимир, Давыд и Олег «**послаша мужи свои, глаголюще к Святополку: что се зло створил еси в Русьстей земли, и** ***ввергл еси нож в ны***» (174). По мысли В. В. Кускова, летописная Повесть об ослеплении Василька «строится на противопоставлении двух символических образов: "креста" и "ножа", которые лейтмотивом проходят через все повествование»[21].

Олег Святославич, требуя вернуть ему отчину отца, Муром, так формулирует свою феодальную претензию: «**А ты ли ми зде** ***хлеба моего же не хощеши дати?***» (168). Прекращение усобицы, раздора также передается метафорическим выражением: «**и** ***уста усобица и мятежь,*** **и бысть тишина велика в земли**» (100).

«Оружие», «меч» обладали широким спектром символических значений[22]: на мечах клянутся язычники-русские при заключении договоров с греками; меч как символ выступает и в эпизоде о «хазарской дани»; оружием обмениваются противники в знак до-

стигнутого согласия. Употребительны метафорические выражения в передаче некоторых воинских понятий: «***взя град копьем***» (50) и «***взяста копьем град и зажгоста огнем***» (177); «***узя Дрьютеск на щит***» (201). Здесь метафора, как и некоторые эпитеты (см. выше), набирает терминологическое значение. Широко употребляемое ныне выражение «лечь костьми», т. е. во что бы то ни стало сделать какое-либо дело, в летописи употребляется в более прямом смысле: «***ляжем костьми***» (50), т. е. умрем, не отступив. Говоря о возможной смерти в бою, Святослав употребляет выражение «**аще *моя глава ляжет***» (50).

Близость смерти обычной, по возрасту, может быть передана оборотом «***седя на санех***», то есть в конце жизни. Метафора эта идет от обычая хоронить в санях[23]. Не лишены метафоричности и религиозные описания смертного акта: «**Се аз *отхожю света сего, предасть душу свою Богу***» (108). Причем выражения такого рода употребляются в ПВЛ настолько привычно, будто за ними не одна только сотня лет христианства, а многовековая традиция.

Весьма изощрена агиографическая стилистика в выражении религиозных символов, актов, понятий, а также в оценке личностей, особо послуживших христианству. Прежде всего, конечно, самого Христа: «***бисер многоценен, еже есть Христос***» (45). Об Ольге, первой из правителей Руси, принявшей христианство, говорится: «**Си бысть *предътекущия крестьяньстей земли***», «***руское познанье к Богу***», «***начаток примиренью***» (49). Определения такого рода можно расценить как эпитеты, но эпитеты метафорического свойства. То же — относительно Бориса и Глеба: «***жертва словесная***», «***светилника сияюща и молящася воину къ владыце***», «***небесная жителя, въ плоти ангела быста, единомысленая служителя***» (93). Вместо имен даются определения: кажется, что Борис и Глеб стали уже не просто людьми, а определенными поступками, актами, а их имена — понятием. Поэтому уже не надо называть их самих, достаточно назвать, обозначить их поступок. Л. И. Сазонова отмечала, что Похвала Борису и Глебу представляет собой «идеализацию отвлеченных качеств "богомудрости", "светлости" и исцелительной силы»[24].

И, наконец, о самих христианах как таковых: «**да явятся яко злато искушено в горну: хрестьяном бо многими скорбьми и напа-**

стьми внити в царство небесное...». Христиане — «***злато искушено в горну***» (152).

С помощью метафор уясняется, делается доступней благость христианства: «***всяк бо человек, аще вкусить сладка, последи горести не приимаеть, тако и мы не имам сде быти***» (75). Вкусовые понятия ближе и привычнее.

Интересна своими осязательными значениями древнерусская метафора, соответствующая понятию «святое крещение», — «баня бытия»: «**Пакы *банею бытия* и обновленьем духа, по изволенью Божью, а не по нашим делом**» (81—82). Хотя это цитата из Послания апостола Павла к Титу (3. 5), но «баня бытия» — вероятно, изобретение русского книжника, его осмысление таинства крещения.

Смена вероисповеданий определяется в категориях времени: «***Ветхая мимондоша, и се быша новая***» («древнее прошло, теперь все новое» — 2 Кор 5, 17), «**ныне приближся спасенье... *нощь успе, а день приближися***» («Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился...» — Рим 13. 11—12) (82). Старое — язычество — уходит, новое — христианство — пришло; язычество — уходящая ночь, христианство — наступающий день. Эти же понятия поднимаются до символического значения: «...**и поучи ю (её) патриарх о вере, и рече ей: "Благословена ты в женах руских, яко *возлюби свет, а тьму остави*"**»[25] (44).

Абстрактное понятие — «премудрость» — может быть изображено как живое существо, способное к самостоятельным проявлениям: «***Премудрость на исходищих поется, на путех же дерзновенье водить, на краих же забральных проповедаеть, во вратех же градных дерзающи глаголеть:* елико бо лет незлобивии держатся по правду...**» (45). В древнерусском изложении образ из Притчей Соломоновых (1. 20—22) получает, кажется, усиление и большую зримость.

Устойчивой оказывается метафоричность, связанная со скотоводческой деятельностью. Амазонки не просто выращивают своих дочерей, но «***въздоять* и прилежне въспитають**» (16). Древляне похваляются своей жизнью: «**а наши князи добри суть, иже *распасли* суть Деревьску *землю***» (40). Конечно, «земля» здесь име-

ет значение «народа», но многозначность слова всегда высовывается за пределы ограничивающего его контекста.

Князь — обязательно пастух. Пастухом затем оказывается и христианский наставник, а его паства — овцами: «**Феодосия, доброго пастуха, иже пасяше словесныя овця**»[26] (140).

Цикл земледельческих работ дал подходящую метафору процессу приобщения страны и народа к духовности и книжности новой религии: «**Отец бо сего Володимер землю взора и умягчи, рекше крещеньем просветив. Сь же насея книжными словесы сердца верных людий; и мы пожинаемь, ученье приемлюще книжное**»[27] (102) (пример использовался выше для иллюстрации сравнительных конструкций). Прекрасную метафору создает летописец, пытаясь передать важность книжного учения и оценить значение книг: «**Се бо суть рекы**[28] **напаяюще вселеную, се суть исходища мудрости; книгам бо есть неищетная глубина; сими бо в печали утешаемся есмы; си суть узда въздержанью**» (102).

По нашим наблюдениям, метафорическая образность используется в тексте ПВЛ для конкретизации абстрактных религиозных понятий, для изображения духовной и культурной деятельности, при оценке выдающихся личностей; развита метафоричность, преимущественно формульная, в воинской сфере. Метафорические сравнения извлекаются из областей привычных, из повседневности: еда, баня, день и ночь, скотоводческий и земледельческий труд. Понятия абстрактные, невещественные, духовные сопровождаются глаголами, передающими действия, присущие людям или явлениям материальным. «В общих чертах это был способ достижения общего через единичное, внутреннего — через внешнее, духовного — посредством материального, абстрактного — посредством атрибутов конкретного, эмпирического наблюдаемого мира. Иными словами в природе интерпретированного символа заключена возможность посредством данных опыта установить его место единичного в универсальном миропорядке и тем самым фиксировать не только частный факт, но и его фундаментальные связи»[29].

Во многих случаях образные выражения и целые эпизоды, по преимуществу воинские и агиографические, тяготеют к большей или меньшей клишированности. А. С. Орлов приходил к выво-

ду, что «формулы воинских повестей в большинстве случаев повторялись не вследствие текстуального заимствования, а просто благодаря тому, что в сознании их авторов воинские картины облекались стереотипными выражениями хорошо знакомого книжникам литературного рода...». Поэтому «многие из них пережили 6—7 веков почти безо всякого изменения» [30]. Вероятно, к такому стилистическому материалу можно применить некоторые положения, разработанные паремиологами на фольклорном материале, ибо как и пословицы и поговорки, так и многие формульные выражения древнерусских произведений — «не что иное, как **знаки** определенных **ситуаций** или определенных **отношений** между вещами». Принципы классификации, разработанные Г. Л. Пермяковым, кажется, могут быть продуктивно использованы и стилистами-медиевистами [31].

В тексте ПВЛ есть некоторое количество таких подробностей, уточнений, разного рода обстоятельственных характеристик, которые можно отнести к «**художественным деталям**». Как и во многих других случаях, здесь мы застаем процесс возникновения и становления приема. Возможно, что древнерусский писатель и не стремился к сознательному выделению детали, но прием этот, должно быть, органически присущ художественному творчеству и потому объективно деталь так или иначе проступала в изображениях летописца. Немалое количество деталей обнаруживается не в описаниях от автора, а в прямой речи героев и персонажей ПВЛ. На этот прием обратил специальное внимание О. В. Творогов [32], и это в какой-то мере избавляет нас от необходимости приводить соответствующие материалы.

Слишком суров был А. Л. Шлецер, считавший, что ПВЛ не требует эстетического толкования, ибо «печерский монах», по его мнению, «на краснописание не имеет... ни малейшего притязания» [33]. Вопреки старому критику, «красоты... в слоге и искусстве изображения» [34] в ПВЛ все же есть. Тропы и фигуры, не являясь доминирующим элементом в стилистики ПВЛ, тем не менее не столь уж редки в ее тексте.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Демин А. С.* О типе литературного творчества создателей «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 10 / Отв. ред. М. Ю. Люстров. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. С. 18.

[2] Текст цитируется по: Повесть временных лет. Ч. 1: Текст и перевод / Подгот. текста Д. С. Лихачева и Б. А. Романова; Под ред. чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. Страницы в скобках.

[3] *Пешковский А. М.* Принципы и приемы анализа и оценки художественной // Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики. М.; Л., 1930. С. 158. А. С. Демин вряд ли согласится с квалификацией летописной речи как художественной, но мы и не настаиваем на сознательных художественных намерениях летописца. Художественность возникает спонтанно при словесном описании реальной действительности или того, что за нее принимается: с этой точки зрения художественность можно обнаружить и в милицейском протоколе.

[4] *Мукаржевский Ян.* Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 170.

[5] *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. М., 1970. С. 36.

[6] См.: *Франчук В. Ю.* Киевская летопись. Состав и источники в лингвистическом отношении. Киев, 1986. С. 31. Аналогичные выводы на материале Ипатьевской летописи см.: *Слыхова З. И.* Имена прилагательные, характеризующие человека в летописном повествовании (на материале Ипатьевской летописи): Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1985. С. 67.

[7] Ср.: *Творогов О. В.* Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л., 1962. С. 283–284.

[8] К наиболее распространенным относит эпитет «великий» и В. Ю. Франчук, см.: *Франчук В. Ю.* Киевская летопись. С. 32. А. С. Демин указал, что одним из основных у древнерусского определения «великий» было значение «многолюдства», см.: *Демин А. С.* О типе литературного творчества создателей «Повести временных лет». С. 38–39.

[9] А. С. Демин полагает, что эти два качества не взаимосвязаны друг с другом в летописном тексте: «телом велики не от того, что умом горды, и горды не от того, что велики» (*Демин А. С.* О типе литературного творчества создателей «Повести временных лет». С. 29). С этим трудно согласиться, ибо гордыня и физические размеры постоянно сопряжены в фольклоре и раннесредневековых текстах (Идолище говорит Илье: «На долонь положу его, я другой прижму, – остается меж руками што одно мокро», печенежин смеется над Кожемякой – «бе бо середний теломь» и т. п.); впрочем, первая часть сентенции А. С. Демина возражений не вызывает.

[10] Ср.: *Франчук В. Ю.* Киевская летопись. С. 37.

[11] Об истоках этого сравнения см.: *Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947. С. 93.

[12] По наблюдениям В. П. Адриановой-Перетц, это сравнение было весьма распространенным в средневековой литературе: Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 90–91.

[13] Ипатьевская летопись. ПСРЛ. Т. 2. М.: Языки рус. культуры, 1998. С. 246.

[14] *Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 25–35.

[15] О стилистике, связанной с воинскими понятиями, см.: *Орлов А. С.* Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.) // ЧОИДР за 1902 г. Кн. 4. М., 1902. С. 1–50; *Творогов О. В.* Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л., 1962. С. 278–284: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. С. 165–185; *Пауткин А. А.* Батальные описания Ипатьевской летописи (проблемы жанра и стиля) // Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1982: *Пауткин А. А.* Батальные описания «Повести временных лет» (своеобразие и разновидности) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1981. № 5. С. 13–21.

[16] Д. С. Лихачев подчеркивает, что древнерусские сравнения «касаются внутренней сущности сравниваемых объектов по преимуществу»; см.: *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. С. 176–184.

[17] В древнерусской словесности «метафоры-символы... гораздо чаще принимают форму метафорического сравнения, чем прямого уподобления...» (*Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 117).

[18] Ср.: *Франчук В. Ю.* Киевская летопись. С. 37.

[19] См.: *Шайкин А. А.* Эпические герои «Повести временных лет» и способы их изображения // Рус. лит. 1986. № 3. С. 99–101; *Он же.* «Се повести времяньных лет...» От Кия до Мономаха. М., 1989. С. 50–59.

[20] Д. С. Лихачеву принадлежит суждение, еще мало освоенное: «то, что мы принимаем за метафору, во многих случаях оказывается скрытым символом, рожденным поисками тайных соответствий мира материального и “духовного”... символы были вызваны к жизни по преимуществу абстрагирующей, идеалистической богословской мыслью» (*Лихачев Д. С.* Средневековый символизм в стилистических системах // Акад. В. В. Виноградову к его шестидесятилетию. М., 1956. С. 168; *Он же.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. С. 164). В. П. Адрианова-Перетц говорила о «метафоро-символическом языке средневековой русской литературы» и полагала, что «этим термином могут быть объединены все те поэтические приемы литературного стиля средневековья, которые построены на семантическом переносе, как итоге уподобления» (*Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 10).

[21] *Кусков В. В.* Жанры и стили древнерусской литературы XI – первой половины XIII вв.: Дисс. ... докт. филол. наук. М., 1980 (машинопись). С. 305.

[22] См.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, С. 161, 191.

[23] Впрочем, повторение этого выражения Мономахом несколькими строчками ниже оставляет возможность и для буквального понимания: «на далече пути да на санях седя, безлепицю молвил» (153).

[24] *Сазонова Л. И.* Древнерусская ритмическая проза XI–XIII вв.: Дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1973. С. 124.

[25] Об источниках такого рода антитез см.: *Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 40–41.

[26] Об источниках см.: *Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 97–100. Выражение «овчата словесного стада» – слова из чина пострижения в монахи. См.: «Святитель Стефан Пермский». Серия «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях». Статья, текст, перевод с древнерусского, комментарии. СПб.: Глаголъ, 1995. С. 271, прим. к с. 128.

[27] Восходя к Библии, метафоры сеяния–жатвы получили развитие в новозаветных книгах. См.: *Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 67.

[28] О происхождении метафоры «христианство, книжное учение – источник, река» см.: *Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 50–51.

[29] *Бараг М. А.* Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987.

[30] *Орлов А. С.* Об особенностях формы русских воинских повестей. С. 1, 50.

[31] *Пермяков Г. Л.* Основы структурной паремиологии. М., 1988. С. 21. Библиография работ Г. Л. Пермякова: С. 232–235.

[32] Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 60–63.

[33] А. С. Демин, кажется, солидарен с этой позицией: «...летописец рассказывал о далеком прошлом.., стремясь излагать факты и мысли.., но не создавать картины...». «Нет оснований говорить о художественном, то есть образном творчестве летописца...», хотя современный исследователь не столь категоричен: «И все же что-то похожее на изобразительное творчество у летописца обнаружить можно» (*Демин А. С.* О типе литературного творчества создателей «Повести временных лет». С. 18–20).

[34] *Шлецер А. Л.* Нестор. Русские летописи на древле-славянском языке, сличенныя, переведённыя и объяснённыя Августом Лудовиком Шлёцером. Перевел с немецкого Дмитрий Языков. Ч. 1. СПб., 1809. С. 396.